Идти бестрепетно. Между литературой и жизнью

Автор:
Евгений Водолазкин

Идти бестрепетно. Между литературой и жизнью

Евгений Германович Водолазкин

Новая русская классика

Евгений Водолазкин – автор романов «Лавр», «Авиатор», «Соловьёв и Ларионов», «Брисбен», лауреат премий «Большая книга», «Ясная Поляна» и «Книга года». Его книги переведены на многие языки. В новой книге «Идти бестрепетно» на первый план выходит сам автор. «Маленький личный Рай детства», история семьи, родные Петербург и Киев, Пушкинский Дом и занятия наукой, переход от филолога-медиевиста к писателю, впервые рассказанные подробности создания «Лавра», «Авиатора», «Брисбена»… В откровенном и доверительном разговоре с читателем остается неизменной фирменная магия текста: в ряд к Арсению-Лавру, авиатору Платонову и виртуозу Глебу Яновскому теперь встает сам Водолазкин.

Евгений Германович Водолазкин

Идти бестрепетно: между литературой и жизнью

© Водолазкин Е.Г.

© ООО «Издательство АСТ»

Далеко-далеко…

Детский сад

Названием учреждения мы обязаны немецкому педагогу Фридриху Вильгельму Августу Фрёбелю, но первый детский сад задолго до него организовал Роберт Оуэн. Это был тот Роберт Оуэн, которого старшее поколение помнит по принудительному изучению научного коммунизма. Даже те, кто справедливо называл коммунизм антинаучным, знали, что именно у Оуэна Маркс позаимствовал какие-то глупости, которые легли в основу коммунистической теории. Так что, подобно другому неисправимому мечтателю, основатель детского сада может быть определен как тот самый Оуэн.

Попав в детский сад лет около трех, я, признаюсь, ничего не знал ни о Фрёбеле, ни об Оуэне, но сама идея собирать население на закрытой территории уже тогда вызывала мое отторжение. Лагеря – пионерские и другие, разного рода военные сборы, – всё это не рождало в душе моей радости. Еще меньше мне нравился коллективный труд – начиная с изготовления снежной бабы и оканчивая взрослыми масштабными задачами.

Не то чтобы я был против масштабных задач – нет, скорее, мне казалось (да и сейчас кажется), что они решаются путем персональных усилий. Мне могут возразить, что есть задачи, которые только коллективом и решаются – ну, скажем, создание большой снежной бабы. Здесь я, пожалуй, соглашусь. Да, большой снежной бабы в одиночку не слепишь. Но, может, и не нужна она такая? Мне кажется, я уже в детстве понимал, что для представительниц прекрасного пола размер – не главное.

В прежние годы было больше снега, и в детском саду мы только тем и занимались, что скатывали гигантские шары, толкая их втроем, а то и вчетвером. Тогда-то я осознал, что значит нарастать как снежный ком. Катимый нами ком с хрустом пожирал весь выпавший снег, оставляя за собой неровные, черные от прошлогодней листвы дорожки. Проблема состояла в том, что потом

мы не могли поставить один ком на другой. Это было наказанием за гигантоманию. Сами себе мы напоминали Робинзона Крузо, вытесавшего лодку, которую не смог дотащить до воды. Чудовищных размеров колобки стояли до конца зимы и из всего, что в нашем саду было снежного, таяли последними.

Если быть точным, то детский сад у меня был не один, а два. Первый из них в силу возраста я помню смутно. От этого периода моей жизни осталось, за несколькими исключениями, четверостишие:

Это Ленин на портрете

В рамке зелени густой.

Был он лучше всех на свете —

И великий, и простой.

Можно было бы только удивиться, что из всех в-лесу-родилась-елочек в голове застряли именно эти строки, но удивляться здесь, собственно, нечему: компостирование мозгов в СССР начиналось еще во внутриутробный период. Текст зацепился в памяти строкой «В рамке зелени густой». Непосредственность детского восприятия не позволяла мне принять эту загадочную рамку, в то время как я видел, что детсадовский Ленин помещался в самой обычной деревянной рамке. До какого-то возраста я еще пытался дать таинственным строкам приемлемое объяснение, перенося, например, место действия в джунгли, но со временем понял, что остальные зарифмованные утверждения были еще более сомнительны.

Два детских сада слились в моей памяти в один, и я не вижу ничего дурного в том, чтобы объединить их и в этом повествовании. Второй детский сад здесь как бы поглощает первый, но имеет, по сути, на это все права. Этот детский сад соответствовал своему названию в полной мере, потому что дети там гуляли в самом настоящем саду.

Для того чтобы в него попасть, следовало свернуть с улицы во двор и, войдя в одно из парадных, подняться на второй этаж. Вход в детский сад открывала обычная квартирная дверь. Дом стоял на небольшом холме, который в условиях городской застройки совершенно не был виден. Между тем, даже закрытый домами, холм оставался на месте и продолжал свое тайное существование. Он открывался лишь тому, кто, поднявшись на второй этаж, выходил с

противоположной стороны дома. С этой стороны второй этаж становился первым. И там был выход в сад.

Сад, если мне не изменяет память, был фруктовый, а по периметру его росли акации. Вместе с холмом сад продолжал набирать высоту, но, поскольку дело шло уже к вершине холма, подъем был не очень заметен. По крайней мере, я не помню, чтобы перемещение по саду воспринималось бы как движение вверх или вниз. Именно в этом саду лепили снежных баб – зимой, а летом были другие занятия.

Например, дуэли. Точнее, одна дуэль, разыгрывавшаяся бессчетное количество раз, – между Онегиным и Ленским. Актерский состав был стабильным: я и какой-то мальчик, чьего имени уже не помню. Побывав с родителями на «Евгении Онегине», оба мы были потрясены до глубины души. Любовная коллизия нас оставила тогда равнодушными, но грозное «Теперь сходитесь!» произвело неизгладимое впечатление. В сцене дуэли я, в соответствии с именем, играл Онегина, а мой товарищ (уж не Владимир ли?) – Ленского.

Предполагаемый Владимир был толст и после моего выстрела падал крайне неловко. Он осторожничал, выбирал место на траве и зачем-то хлопал себя по ляжке. Я неоднократно показывал, как ему следует действовать, говорил, что здесь уж не выбирают, куда падать, но всё было тщетно. Покачавшись на полусогнутых ногах, он сначала касался земли рукой, а потом под треск сучьев валился на бок.

Любовную сторону «Евгения Онегина» я открыл уже не в детском саду – как и волшебную музыку этой оперы. Мне купили пластинку, и я слушал ее, пожалуй, чаще, чем стрелялся в свое время с Ленским. Выучив на память все арии, я пел их в меру своих скромных возможностей. И даже сейчас, когда я редко что-либо слушаю (и уже совсем не стреляюсь), после второй-третьей в дружеской компании всё еще могу что-то изобразить. Не уверен, что друзьям мое пение доставляет удовольствие, но на то они и друзья, чтобы идти на определенные жертвы. Корни же этого сомнительного вокала восходят, несомненно, к моим оперным дуэлям.

Нужно сказать, что дуэли относятся к самому позднему моему детсадовскому периоду. Это было, так сказать, верхним фа моего дошкольного существования. Начиналось же всё гораздо скромнее. Первые года два детский сад был главным моим детским несчастьем. Меня там никто не обижал, но нежелание идти туда

можно было бы сравнить только с нежеланием идти к зубному врачу. Более того, в рейтинге моих нежеланий зубной уступил бы, думаю, детскому саду, потому что в первом случае это был естественный, но перебарываемый страх боли (в моем детстве не было анестезии), а во втором – непреодолимое отчаяние, непонятное никому, в том числе и мне.

Замечу, что и вел я себя иррационально. Я послушно вставал, умывался, позволял напялить на себя кофту и бесформенные шаровары (помнится зимний вариант) и спокойно, в общем, доходил до двери детского сада. Там я резко разворачивался и продолжал движение уже в противоположном направлении. Когда меня возвращали, я начинал рыдать, упираться и просить не оставлять меня в этом грустном месте.

Всех, кому довелось сопровождать меня в детский сад, изумляло то обстоятельство, что свои демарши я начинал непосредственно перед дверью. Прямо меня об этом не спрашивали (такой вопрос намекал бы на допустимость акции), но косвенным образом интересовались, отчего это мои истерики разыгрываются в последний момент, вместо того чтобы случиться во время умывания или натягивания тех же шароваров. В конце концов, куда лежит курс, мне было известно изначально.

Что мог бы я им ответить? Ну, разумеется, я знал, в каком направлении мы будем двигаться, и тосковать я начинал, едва открыв глаза. Вообще говоря, утро было для меня довольно безрадостным временем. Тьма за окном, пластмассовый голос радиоточки – всё это не прибавляло настроения. Но. Я находился дома – и в благодарность за это готов был пялиться в снежную тьму, слушать радиоточку, да мало ли на что еще был я готов! До сада, думал я, еще много чего произойдет. Так безнадежный больной оставшееся ему время не хочет отравлять истерикой.

Я сдерживался даже тогда, когда мы уже шли по улице. Растягивая отведенные мне минуты до размеров вечности, я говорил себе, что до детского сада еще идти и идти, что прежде мы еще пройдем мимо аптеки, мимо какого-то бронзового типа на коне, мимо колючих кустов. Проходя мимо кустов, я думал, что еще нужно будет зайти во двор, подняться на второй этаж. Ну, а на втором этаже всё, понятно, и начиналось.

Когда меня спрашивали, отчего я так плачу, идя в детский сад, я отвечал, что там слишком яркие лампы. С точки зрения взрослых, освещение не могло быть

серьезной причиной страдания, и в жизни моей не происходило изменений. Придумай я что-нибудь вроде невозможности поладить с детьми (воспитателями), мои жалобы, наверное, были бы встречены с большим сочувствием. Я же говорил чистую, хотя, с точки зрения здравого смысла, невероятную правду: ничто в саду не приводило меня в такое отчаяние, как пронзительный свет люминесцентных ламп. Эти ядовитые лучи были так непохожи на мягкий свет моего дома. Они безжалостно высвечивали те недостатки дошкольного учреждения (прежде всего, наличие в нем злобных и энергичных детей), которые при другом освещении остались бы, возможно, в тени.

Всякое изменение в устоявшейся картине мира вызывало во мне новый приступ горя. Так, настоящим потрясением стала для меня замена обеденных столов. Как-то утром вместо удобных, хотя слегка и обветшавших столов питомцы детского сада обнаружили длинноногих монстров неестественно желтого цвета. Дома я сказал, что, сидя за этими столами, невозможно достать до еды, и предложил не отправлять меня в сад. Звучало это еще менее правдоподобно, чем в случае с лампами, и в сад я был отведен.

Каково же было мое удивление, когда на следующий день ножки у столов оказались укорочены (отпиленные их части были аккуратно сложены в углу), столы опустились до нужного уровня, и блюда детсадовской кухни стали вновь доступны. Радость от этих блюд была небольшой, но возвращение привычного размера столов подействовало на меня успокоительно.

(Педагогическая вставка: маленькие люди не любят перемен. Они любят, чтобы сегодня было так же, как вчера, а завтра – как сегодня. Потому, например, не стоит с ними чрезмерно путешествовать: частые поездки их утомляют. А еще мне кажется, что им нравится не столько читать, сколько перечитывать, потому что это возвращение к знакомому…)

Упомянутые мной блюда – отдельная тема, при воспоминании о них мне до сих пор икается. Манная, в комках, каша, красные (под свеклу) бруски в борще, пахнущие хлоркой макароны и резиновые груши компота – меню было, в общем, небогатым. Удержать эти деликатесы в организме удавалось немногим. В моих ушах до сих пор звучат унылые препирательства с воспитательницей относительно того, сколько нужно съесть, а сколько можно оставить.

Вспоминая всё это, я долго сомневался, отправлять ли мне свою дочь в детский сад. И, даже отправив, ждал, не будет ли сад вызывать у нее те же страдания и те же жалобы. По первому сигналу я был готов забрать ее из сада, сказать, уходя, всё, что не высказал в детстве, и проклясть это заведение навеки. Но, к моему изумлению, дочь ходила в детский сад с охотой и даже сердилась, если я забирал ее слишком рано. Это был не мой детский сад, но ведь все они так похожи. Мне не подошел бы любой.

Впрочем, детские мои страдания со временем тоже закончились. Что-то со мной произошло (говорили: перерос), и годам к пяти с половиной я ходил в сад уже не без удовольствия. Конечно, питание не улучшилось, и я мало что там ел (завтракать, например, мне вообще разрешили дома), но ведь не в еде состояла мучительность моего детсадовского существования. Я больше не впадал в депрессию при мысли о том, что мне нужно идти в сад, общаться, среди прочих, с теми, кого я не любил… Всякое ведь случайное и, пожалуй, не очень добровольное собрание людей предполагает общение с теми, к кому в вольной жизни ты бы не подошел. Оно предусматривает также закрепленное место в иерархии, в то время как очень уж хочется исходить из того, что каждый человек – вне любых конструкций, поскольку неповторим.

Во второй, благополучный, период моей детсадовской жизни с иерархией всё у меня было в порядке. Я имел возможность спокойно стреляться на дуэлях (для этого требовалась довольно высокая степень свободы) и делать всё то, что доступно право имеющему. Более того, сферу доступного я понимал в каком-то смысле шире, чем остальные детсадовцы.

Например, я позволял себе пародировать сотрудниц детского сада, вплоть до (о, ужас!) его заведующей Ады Георгиевны. Мое обращение к образу Ады Георгиевны было связано с ее манерой есть, а точнее – с массой пневматических эффектов, сопровождавших принятие ею жидкой пищи. Успех моего представления был обеспечен, поскольку все знали, как именно она ест: воспитатели и заведующая почему-то ели в одно время с детьми.

Интересно, что поддержка моих пародий не ограничилась воспитанниками детского сада: благодарные зрители нашлись и среди воспитательниц. Как все нормальные люди, воспитательницы не любили начальство, и не любили, надо думать, всей душой. В отсутствие заведующей они просили меня изобразить, как Ада Георгиевна ест рассольник, как пьет горячее молоко – и я не отказывал. Судя по тому, как они хохотали, получалось у меня неплохо. Особенно в номере с

рассольником, предполагавшем втягивание в рот не только жидкости, но и огурцов.

Детский сад был маленькой моделью жизни, в которой дни славы и успеха чередуются с периодами неудач. Как-то в советский праздник 23 Февраля наше дошкольное сообщество посетили солдаты близлежащей военной части. Они рассказывали о своей непростой жизни, расспрашивали нас о нашей жизни – тоже непростой, и как-то так незаметно выяснилось, что у моего приятеля Алеши Семенова как раз 23-го день рождения. И тогда ему был сделан подарок: Алешу посадили на стул, и два самых рослых солдата подняли его со стулом к самому потолку. Он сидел там, под потолком, вцепившись в стул обеими руками, и в глазах его страх соединялся с абсолютным счастьем. Смотрел на нас Алеша со своей высоты, а мы стояли вокруг него маленькие – меньше даже, чем обычно. И тут в надежде, что меня тоже поднимут на стуле, я крикнул, что у меня день рождения 21 февраля. Да, я не рассчитывал на то, что меня поднимут на ту же высоту: с датой рождения вышла у меня промашка. С другой же стороны, разница была небольшой, и, в сущности, 21-е – это почти 23-е, так что на половину Алешиной высоты меня уж можно было как-нибудь поднять.

Меня не подняли, даже не оторвали от земли. Было сказано, что почти не считается, и это прозвучало как голос справедливости. Это произнесли не солдаты – они были славными ребятами, и совершить еще один подъем именинника для них было делом плевым. Если ничего не путаю, голос этот принадлежал старейшей сотруднице дошкольного учреждения, периодически произносившей мудрые, но гадкие вещи. Так оказался сорван мой взлет, а счастье было так возможно.

Упущенный шанс взмыть к потолку стал одним из крупных разочарований моего детства. Большим разочарованием была лишь неосуществленная мечта поплавать на листе тропического растения виктория регия. Где-то я прочитал, что такой лист выдерживает вес до 25 килограммов и потому-де тропические дети спокойно пользуются им как лодкой. Я мечтал об этом долго – класса до второго-третьего, с тоской осознавая, что неумолимо набираю вес. А потом жизнь как-то расширилась, прибавила в красках, и мечта моя исчезла сама собой.

Завершая рассказ о моем детском саде, скажу, что, несмотря на обилие яблонь, он, конечно же, не был райским садом. Но в том, как последний раз лязгнули за мной его двери, обозначилось неожиданное сходство с дверями Рая. Я больше не

имел права на этот сад. Его, скрытого за домом, забором, акациями, я не мог даже увидеть. Мне кажется, что, будучи изгнаны из Рая, Адам и Ева страдали не только оттого, что там было хорошо, а здесь плохо, но и от мысли, что туда уже нет возврата.

Тяжело знать, что куда-то уже не вернуться или чего-то уже не вернуть: это проклятие временем и пространством. Проклятие, если о более частном, мешками под глазами, нависшим над ремнем животом, ну, и в широком смысле опытом – теми вещами, которые увеличиваются независимо от нашего желания. Я давно не взвешивался, но отчетливо осознаю, что это будет больше 25 килограммов. Понятно, что виктория регия поплывет без меня.

Татьянин день

25 января 1755 года императрица Елизавета Петровна утвердила проект об учреждении Московского университета. В прежние времена события предпочитали датировать церковными праздниками и днями памяти святых. Так 25 января, день великомученицы Татьяны, стал в России Днем студентов.

Для меня и моей жены это был двойной праздник. Во-первых, моя жена – Татьяна. А во-вторых – мы оба были студентами. В то замечательное время мы находились в разных точках не существующего ныне государства, но ход событий нашей студенческой жизни был примерно одинаков. Ход этот начинался обычно с колхоза, что превосходно описал в романе «Душа моя Павел» Алексей Варламов.

Если на колхозных грядках моя будущая жена занималась сбором арбузов, то я имел дело с такой деликатной культурой, как хмель. Хмель, в сравнении с арбузом, занимает в истории более прочное место. Само это слово вызывает легкое опьянение. Впрочем, я пьянел тогда не от хмеля – скорее, от начала новой, взрослой жизни.

По вечерам (мы с Таней тогда еще не встретились) я сидел в компании сборщиц хмеля. Головы девушек украшали сплетенные из хмеля же венки. Всё происходило во дворе нашей хозяйки, усталой мрачноватой женщины, выращивавшей индюков.

Это был необычный двор. Да, девушки, да, венки, коптилка на столе, но главное – выраставшее за нашими спинами волшебное дерево. Днем оно было простой яблоней, а ночью преображалось: на ветвях его сидели индюки, напоминавшие невиданных размеров яблоки. Отчего-то птицы предпочитали ночевать именно там.

Виделось в этом что-то сказочное, к реальному миру непричастное. В общей беседе индюки участия не принимали. На своих ветвях они сидели неподвижно и молча. Вероятно, мы мешали им спать, но открытого неудовольствия – как и положено фольклорным птицам – они не выказывали.

Сейчас, имея время от времени дело с театром, я смотрю на картину наших ночных сидений другими глазами – и понимаю, что более прекрасной декорации я не видел. Не могу пока решить, какой пьесе она соответствовала бы в наибольшей мере («Синяя птица»?), но при первом же удобном случае опишу ее в деталях художнику-оформителю. Строго говоря, такое дерево логично было бы увидеть на фольклорной практике, куда филологов отправляли то ли после второго, то ли после третьего курса, но факт остается фактом: встретилось оно мне в колхозе.

Словно предвидя мои будущие занятия «Словом о полку Игореве», на фольклорную практику меня командировали на границу России, Украины и Белоруссии. Волшебного дерева там не оказалось, но были свои экзотические птицы. Звали их Люся и Коля.

Коля собирался жениться. Сложилось так, что на свадьбу Колина невеста не явилась: возможно, полюбила кого-то другого. А может быть – это ведь тоже причина для неявки – в последний момент осознала, что Коля ей совсем не нравится. Так или иначе, ситуация складывалась критическая.

Жених умеренно грустил. Сильные чувства обнаружил лишь его отец, оплативший роскошный свадебный стол. Используя ненормативную лексику, земляк князя Игоря потребовал, чтобы сын тут же нашел себе другую невесту. Тот вяло сопротивлялся, но отец, показав на стол, поклялся, что другого такого в Колиной жизни не будет.

Молодой человек пошел в клуб, где как раз собирались давать кино, и спросил, кто за него пойдет замуж. Тут же встала невысокая девушка и сказала на

местном диалекте: «Я пиду». Осмотрев претендентку, свое решение Коля озвучил со всей определенностью: «Ты хоч мала, та цыцьката. Беру». Резолюция была, возможно, не самой поэтичной, но брак их оказался счастливым. Записывая эту историю от самого Коли, я отмечал про себя красоту славянской речи и загадочность путей, ведущих к счастью.

Особенность отечественного высшего образования состоит в неразрывной связи науки и жизни. Мне жаль наших соотечественников, прозябающих в университетах Англии или США, – они много потеряли. Я, например, не слышал ни об одной студенческой поездке в колхоз под Кембридж. Да и на фольклорной практике где-нибудь в штате Канзас вряд ли запишешь историю, сопоставимую по классу.

Разнообразие методов обучения воспитывало в наших студентах особые качества, делало их, что ли, особой кастой. Как в свое время выразилась одна моя сокурсница, «аэлитой общества». В любых жизненных обстоятельствах они способны отделить зёрна от плевел, агнцев от козлищ, а теорию, наоборот, соединить с практикой. «Суха теория, мой друг, / А древо жизни пышно зеленеет» – это сказал не наш студент, но ведь – мог бы…

Подобно теории с практикой, соединились и наши с Татьяной студенческие пути. Точнее, с поступлением в аспирантуру Пушкинского Дома эти пути стали не совсем студенческими. От студенчества оставалось еще общежитие, ну и, наверное, легкость в восприятии жизни (она и сейчас до некоторой степени остается). Мы со всей страстью отдались совместным научным исследованиям. Но – древо жизни пышно зеленело…

Стоит ли говорить, что создание пары Евгений – Татьяна в Пушкинском Доме не могло не найти поддержки, и по окончании аспирантуры нас приняли на работу. Наш союз предлагал альтернативное развитие сюжета бессмертного романа в стихах. Можно догадываться, что пушкинские герои ни разу не были в колхозе, да и в целом не имели богатого студенческого опыта. В результате непростую ситуацию (а счастье было так возможно) они сумели усложнить до предела.

Далеко-далеко…

Коты (под этим обозначением я подразумеваю лиц обоего пола) сопровождают нас всю нашу жизнь – с высоко поднятым хвостом, сибирские и сиамские, персы и шартрезы, пушистые и бесшерстные. Многократно воспетые отечественной и зарубежной литературой. Оставим в покое классику – уже наш XXI век дал два замечательных романа о котах. Имею в виду «Путь Мури» Ильи Бояшова и «Дни Савелия» Григория Служителя. И всё же о котах нужно писать больше: они того стоят.

Как известно, кот – древнее и неприкосновенное животное. Здесь можно было бы поговорить о египетских кошках, но единственное мое впечатление о них (помимо Эрмитажа) связано с посещением мюнхенского Музея Резиденции. Не могу сказать, что между мной и тамошними обитателями возникло взаимное чувство. Не пробежала, выражаясь языком любовных романов, искра симпатии – и ничто не ёкнуло ни в них, ни во мне. Для любителя котов зрелище было удручающим: за стеклами витрин располагались десятки – если не сотни – туго спеленатых четвероногих. Да, почет, да, обожествление и возможность мяукнуть, так сказать, в вечность. Но до чего же грустно они смотрелись в этом баварском мавзолее – уж так они были не похожи на наших веселых спутников жизни.

Если говорить о древности, то, в связи с родом моих занятий, мне ближе Древняя Русь, где котов никто не мумифицировал. Русское Средневековье отзывается о котах самым уважительным образом. К примеру, Житие Никандра Псковского рассказывает о том, что святому однажды понадобился кот. Он обратился к одному из посетивших его «пользы ради душевныя»: «Чадо Иосифе, несть у меня кота. Но сотвори ми послушание – сыщи ми кота». Другая, литературно обработанная редакция Жития детализирует этот сюжет, избегая при этом слов «кот» и «мышь». Повествование приобретает эпический характер: «Не обленися принести мне некоего животна, малых животных, пакость творящих, зверски терзающего и некосно изъядающаго».

Судя по ответу Иосифа, поручение по средневековым меркам было не из легких: «Да где такову аз вещь обрящу, тебе угодну?» Никандр дает ему точный адрес обладателя кота, и Иосиф поручение выполняет. Но не до конца. Вместо того чтобы отнести животное старцу, он отправляется домой, закрывает его в темном месте и не дает ему еды и питья. Иррациональное поведение Иосифа объясняется тем, что действовал он «по наносу Дияволю». Когда Иосиф все-таки является к Никандру, святой укоряет его: «Иосифе, почто кота сего в темницы смиряеши три дни?» История заканчивается благополучно и для Иосифа, и для

кота. Это – одно из немногих упоминаний котов в древнерусской литературе.

Происхождению котов посвящен средневековый анонимный апокриф о мыши в Ноевом ковчеге. Не знакомый с дарвинизмом автор видел это следующим образом. В ковчеге, собравшем, как известно, каждой твари по паре, царило полное согласие. Уж как-то так сложилось, что животные смогли там друг с другом поладить: так бывает в трудные времена. И только мышь, в которую вселился Дьявол, вела себя деструктивно: не сказав никому ни слова, она стала прогрызать в ковчеге дыру. Обитателям ковчега сразу стало понятно, чем могут кончиться подобные вещи. И тогда произошло следующее: лев чихнул (по-древнерусски – «прыснул»), из его ноздри выскочил кот – и задушил мышь. Так, по утверждению древнего сказания, возникли коты.

В наше время достать кота гораздо проще. Чаще всего это получается само собой – так было и у меня. Своего кота я получил в детском саду, куда ходила моя дочь. Однажды вечером, когда я забирал ее из сада, ко мне подошла воспитательница. Она сказала, что у детсадовской кошки Муси появились котята, и попросила взять одного из них. Мусю знали не только дети (она проводила с ними всё свое свободное время), но и родители, поскольку кошка не пропускала ни одного родительского собрания.

Получалось, что предлагаемый мне котенок происходил из хорошей – хотя и неполной – семьи. Для Петербурга это очень важное обстоятельство. Я легкомысленно последовал за воспитательницей в подсобное помещение. Счастливая мать сидела в коробке с двумя еще не пристроенными сыновьями. Один из котят довольно злобно на меня зашипел, и в душе моей шевельнулись первые сомнения. По правде говоря, я не был уверен, что мне нужен кот, но не мог найти причину для отказа. Чувствуя себя некоторым образом участником телеигры, я попросил разрешения позвонить жене. И позвонил. И ничего это не дало: жена впала в ту же растерянность, что и я. Ситуация, видимо, была предрешена. Из двух котят я выбрал нешипевшего. Домой мы вернулись втроем.

Я помнил, что лошадям даются имена по первым слогам имен их родителей, но родительница нашего котенка была, как сказано, матерью-одиночкой. Обычная кошачья история. Муся, которую поматросили и бросили, последствия вынуждена была расхлебывать одна. Поскольку родословная нашего нового жильца ограничивалась мамой Мусей, мы назвали его Мусиным.

Первый вечер прошел в счастливом созерцании крохи, но уже наутро начались суровые будни. При дневном свете (в Петербурге это редкость) выяснилось, что кот наш косоглазый. Мы утешали себя тем, что косоглазых котов на свете не так уж много и что в известном смысле это даже плюс. Дальнейшие открытия были менее радостного свойства. Мусина пришлось срочно избавлять от блох (которые, как оказалось, бывают и в хороших семьях), а также учить ходить в правильное место. При этом наши с Мусиным представления о правильных местах существенно расходились. Спустя несколько недель обнаружилось также, что наш котик не признавал специальных приспособлений для точения когтей. Найдя себе подходящее кресло, Мусин сосредоточился на нем. Через пару месяцев оно превратилось в лохмотья. Кроме того, он придумал себе развлечение: перебирая лапами по нижней части дивана, скользил на спине по ковровому покрытию. Временами переключался на обои, обувь и мягкие игрушки.

Самой большой потерей стали ноутбук и лазерный принтер. Он не был луддитом, наш Мусин, и не объявлял войну машинам. К этим предметам он попросту ревновал. Собственно, это было отношением не к технике, а к тому, что в работе за компьютером не принимал участия он. Оргтехнику Мусин усиленно метил, чтобы всем было ясно, что ею пользуются не только хозяева. Сначала вышел из строя принтер, а потом – с шипением и дымом – ноутбук. И то, и другое починке не подлежало, потому что (так мне объяснил компьютерный мастер) речь шла о солевом растворе, который является хорошим проводником. После воздействия воды (мастер поднял бутылку минералки) он бы компьютер починил, а после солевого раствора – никогда. Что ж, виноват был только я, лишив кота легального доступа к ноутбуку.

Купив новую технику, я работал на ней уже вместе с Мусиным. У компьютера ставился дополнительный стул. Я переводил древнерусские хронографы или, скажем, набирал церковнославянские тексты житий, а Мусин сидел рядом. Он зорко следил за правильностью перевода и помогал составлять комментарии.

Из рассказов моей бабушки, учительницы биологии, я знал, что даже домашние коты принадлежат к отряду хищных. Что это значит на практике, я понял, когда Мусин стал на нас охотиться. Наш добрейший котик иногда вдруг выскакивал из-за диванов и стульев и старался поймать наши ноги. Очевидно, он выбирал объект по силам, потому что больше всех доставалось нашей пятилетней дочери. Мусин не кусал, не царапал – просто фиксировал свою победу. Но сама внезапность его действий заставляла нас постоянно думать о ногах.

Гостей Мусин не любил. Точнее, не всех гостей, а тех, которые его не замечали и говорили, как ему казалось, на посторонние темы. В таких случаях он начинал метаться по квартире и всячески привлекать к себе внимание. Но стоило кому-то сказать: «Какой красивый котик!» (а он был действительно красив), как он мгновенно успокаивался и садился рядом с тем, кто догадался это произнести. Наш благодарный кот соглашался на любой вид внимания, включая фамильярное «Косой с колбасой».

Иногда я брал его на руки и декламировал детскую загадку о том, как «далеко-далеко на лугу пасутся ко…». И хотя в моей версии ответом были коты, выслушивать эту пургу Мусин был не намерен. Вкусивший от плодов науки, он считал такие загадки игрой на понижение.

Разумеется, я не был первым, кто писал в соавторстве с котами. Так, знаменитый Юрий Валентинович Кнорозов, расшифровавший письменность майя, создавал свои работы вместе с кошкой Асей. Свою статью о происхождении языка он подписал двумя именами – своим и Асиным. Когда редактор вычеркнул Асино имя, Кнорозов был вне себя. Мусин на своей подписи не настаивал. Скромный герой труда, он легко отказывался от указания своего авторства, потому что знал, что дискриминация котов в издательских кругах – всё еще обычное дело.

Настоящим потрясением для Мусина стало мое обращение к прозе. В соответствии со своими офтальмологическими особенностями, на всё, что не касалось науки, он вообще смотрел косо. Первое время мое новое увлечение представлялось ему прямой изменой науке, но впоследствии взгляды его изменились. Литература стала ему казаться предметом, достойным внимания, и при первых звуках клавиатуры он по-прежнему прибегал, требуя поставить рядом стул.

Вообще говоря, современную литературу он оценивал совсем неплохо. Вершин, равных «Коту Мурру», он в ней не видел, но ему казалось, что после беспокойных девяностых она начинает выруливать в нужном направлении. Наши с ним вкусы в целом совпадали. После того как роман «Путь Мури» получил «Нацбест», его взгляд на литературный процесс стал еще более оптимистическим.

Помимо романа Бояшова, Мусин ценил и более далекие от его любимой темы вещи. Он зачитывался романами финалистов «Большой книги», «Ясной Поляны», а также «НОСа», название которого ему казалось на редкость удачным. Не

отвергал наш кот и «Русского Букера», ценя его за смелые решения. Премия Андрея Белого ему нравилась всем, кроме приза: к яблокам и водке он был равнодушен.

Всматриваясь в тенденции развития литературы, Мусин решительно указывал на сходство поэтики постмодернизма с поэтикой средневековой. Из наших с ним бесед впоследствии родилась статья «О средневековой письменности и современной литературе». По цензурным соображениям она была опубликована только под моим именем. В целом Мусин находил, что литература становится серьезнее и глубже.

Он не любил жанровой литературы – фэнтези, лавбургеров и триллеров. Считал, что в центре повествования должен находиться кот, в крайнем случае – человек, но никак не поиск убийцы или, скажем, любовные отношения. Любуясь однажды в зеркале своей чисто вымытой шерстью, предложил мне написать роман «Пятьдесят оттенков серого». Не знаю, делился ли он своими мыслями еще с кем-то, но впоследствии действительно появилась книга с таким названием. Думаю, что все-таки не делился: замысел Мусина было гораздо тоньше и возвышенней.

Окончательно с моими литературными занятиями его примирил роман «Лавр». Когда в современный текст мы с ним включали древнерусские цитаты, он с удовольствием вспоминал счастливые деньки, безраздельно посвященные медиевистике.

Жизнь с Мусиным мы вспоминаем как годы счастья. Он всё больше обнаруживал человеческие черты, а мы – тут уж никуда не денешься – кошачьи. По мнению специалистов, я до сих пор неплохо мяукаю. Мы понимали друг друга с полувзгляда. Обычно Мусин был немногословен и ориентировался, скорее, на интонацию. Он отлично понимал: как сказано нередко важнее того, что сказано. Перенося это наблюдение в плоскость творчества, подчеркивал, бывало, что форма в литературе – это, по сути, содержание.

Мусин прожил у нас шестнадцать лет. Потом начались проблемы с почками, бесконечные анализы и приезды скорой ветеринарной помощи. Я, не воткнувший шприц ни в одно человеческое тело, делал ему уколы и ставил капельницы. Он сносил это стойко и не сопротивлялся. До сих помню его глаза, полные понимания бесполезности этих манипуляций. В таких случаях коты обычно знают, куда лежит курс. Принимая уже ненужное, в сущности, лечение, он

заботился скорее о нас. Он давал нам выполнить наш долг до конца. Хотя зачем я его выполнял, так до сих пор и не понимаю.

Его уход стал для нас огромной потерей. И нам трудно было поверить, что это навсегда. Далеко-далеко… На каких лугах пасется он сейчас?

В одном из богословских сочинений я прочитал, что у нас есть надежда. Да, животные, вероятно, не воскресают сами по себе. Но в назначенный день они восстанут из мертвых через нас. В облаке нашей к ним любви – согретые ею, как оренбургским пуховым платком (в таком умирал наш Мусин), вносимые нами в райский сад. И мы снова будем вместе.

Ждановская набережная между литературой и жизнью

Ждан – ребенок, которого очень ждали. Неждан – соответственно, наоборот: в отношениях мужчины и женщины случается и такое. От прозвища Ждан происходит фамилия Жданов, рождающая у отечественного читателя смешанные чувства. Многие еще помнят, как оканчивали учебные заведения имени Жданова или жили на названных в его честь улицах.

Я – счастливое исключение: более десяти лет мы с семьей прожили на Ждановской набережной, которая к тому Жданову не имела никакого отношения. Наш Жданов, точнее, братья Ждановы, Иван и Николай, были «учеными мастерами», владевшими в XIX веке Петровским островом у Петроградской стороны. На острове братья производили березовый деготь, древесный уксус и синьку. Речка, омывавшая остров с севера, стала называться Ждановкой – отсюда и Ждановская набережная. Всё очень достойно.

На Ждановской набережной мы поселились в доме номер одиннадцать – монументальном сооружении сталинского ампира, напоминающем триумфальную арку. Две части этого дома, построенные в 1955 году на месте двух деревянных домов, и в самом деле соединяет арка, под которой боязливо пробегает Офицерский переулок. По этому переулку маршировали офицеры и курсанты Военно-космической академии, направлявшиеся для построения на стадион Петровский (когда-то – им. Ленина).

Квартира наша была двусторонней: окна большой комнаты выходили на мост через Ждановку и стадион Петровский, окна спальни и кухни – на Офицерский переулок. По которому, повторю, маршировали военнослужащие в своем несуетном движении на стадион. Заслышав барабанную дробь в переулке, я подходил к окну спальни и наблюдал их приближение к арке. Когда первые шеренги скрывались под аркой, переходил к противоположному окну. Любовался тем, как, игнорируя колебательный закон, они самозабвенно чеканили шаг на мосту. И ничего, вопреки школьному учебнику физики, с мостом не происходило.

По мосту ходили также болельщики «Зенита». Ходили, как и следовало ожидать, нестроевым шагом, так что за них я был в целом спокоен. В отличие от скупых на слова военных, болельщики много кричали, а еще больше – мочились, заходя во двор. Чтобы остановить этот поток, наш сосед выводил своего бульдога. Бульдог, и сам способный при случае пометить территорию, входил в ступор: такого количества меток он не видел никогда.

Помимо бульдога, в связи с домом на Ждановской вспоминаются птицы. Одна из них – соседский попугай, которого мне довелось спасать. Как-то раз в нашу дверь позвонила соседка и сказала, что ее попугай, залетевший в щель между шкафом и стеной, не может выбраться. Она просила о помощи. Вероятно, в ее глазах я был тем, кто способен помочь попугаю. Я не люблю птиц, хотя люблю, скажем, котов (тут уж, видимо, либо одно, либо другое), но отказать соседке не смог. По условиям задачи шкаф не отодвигался, его можно было только разобрать, и мне пришлось забраться на него по стремянке. За стенкой шкафа, где-то у самого пола, я увидел маленького попугая. Он находился так далеко, что достать его казалось делом совершенно невозможным. Получалось, что хозяйке следовало выбирать между шкафом и попугаем.

Чтобы сделать для попугая хоть что-нибудь, я затребовал швабру. Я был уверен, что он испугается, забьется еще дальше, но не предпринять попытки не мог. Протолкнув ручку швабры вниз, я начал осторожно подводить ее к птице. К моему изумлению, спасаемый не стал капризничать и проявил благоразумие. Без лишних слов (неизвестно, был ли этот попугай говорящим) он схватился за ручку обеими лапами и был извлечен на поверхность. Зная свою хозяйку, попугай, возможно, подозревал, что выбор будет сделан не в его пользу.

Птицы на Ждановской набережной залетали в окна, садились на балкон – сказывалась близость зеленого Петровского острова. Однажды рано утром я

проснулся от громкого карканья ворон. Карканье, даже тихое, имеет оттенок скандальности. Уж это, видимо, дар такой, особенность породы: есть у меня знакомая (не ворона) – что бы она ни говорила, создается стойкое впечатление скандала.

Накрыв голову подушкой, я всё еще пытался заснуть, но не тут-то было: зазвонил телефон. Обругивая ворон, звонившего и испорченное утро, я снял трубку. Звонили из дома напротив. На моем балконе, как выяснилось, сидел совенок, которого и атаковали разъяренные вороны. «Если вы снимете совенка с балкона, – пообещали в трубке, – мы готовы взять его себе». Есть просьбы, выполнять которые соглашаешься только спросонья. Я, поколебавшись, пообещал попробовать. Пусть я не знал, как с балконов снимают совят, но, утешал я себя, не знал ведь я и того, как из-за шкафов достают попугаев. Я снял с дивана плед и подошел к балконной двери.

Сидевшая на балконе птица опровергала все мои представления о совятах. Единственный совенок, с которым я до этого имел дело – игрушка, подаренная моей дочери, – был размером с ладонь. Совенок на моем балконе (использую доступную мне систему мер) был больше громадного плюшевого кота, также подаренного дочери. Птица подслеповато смотрела по сторонам и вяло уворачивалась от ворон. Вороны пролетали над ней на бреющем полете, но касаться ее, кажется, остерегались. Раздумывая, как на такого совенка набросить плед, я начал осторожно открывать балконную дверь. Здесь мне повезло меньше, чем с попугаем. Не догадываясь, что спасение близко, сова (назовем вещи своими именами) взмахнула крыльями и в сопровождении ворон улетела куда-то в глубь двора. В дом на Ждановской залетала ко мне еще одна птица, но о ней я рассказал в романе «Соловьев и Ларионов», так что не буду повторяться.

Роскошь и основательность нашего дома, как это нередко случается с помпезными вещами, были чисто внешними. Так, сооружение дворцового типа почему-то не имело лифтов. Стены между квартирами (намеренно?) были исчезающе тонкими, так что я оказывался невольным свидетелем семейных ссор на этаже, не говоря уже о меланхолических фортепианных экзерсисах нашей соседки. Бывали странные дни, когда события непреднамеренно соединялись – утренний марш военных, вечерний футбол, бурная ссора, переходящая в «Лунную сонату», и я, печатающий на машинке (ушедший из жизни звук) очередную научную статью.

Позднее, когда кое-что из этого было мной описано в упомянутом романе, кто-то из критиков поставил мне на вид то, что безденежный аспирант (герой романа) не мог поселиться в таком монументальном доме. Но, во-первых, дом оказался не столь уж монументальным, а во-вторых, будучи вчерашним аспирантом, я ведь – поселился. И вообще, выражение не мог в отношении русской действительности следовало бы использовать как можно реже. Я, младший научный сотрудник – что в определенном смысле хуже аспиранта, – жил в этом доме, не подозревая, что делать этого не могу. Хотя денег, это правда, не было: занятия древнерусской литературой их не предусматривали. Но я пытался подрабатывать.

Идея подработки пришла (есть в научном мире солидарность) от наших западных коллег. Время от времени они стали присылать к нам своих студентов для совершенствования их русского языка. Мы селили их в большой комнате, а сами – с дочерью нас было трое – жили в спальне. Очередного нашего гостя мы обучали русскому на перемену с женой. Занятия проходили дважды в день: утром, на свежую голову, грамматика, вечером – чтение и разговорная речь, включавшие постановку произношения. Где-то и сейчас ходят по Европе наши языковые клоны, и сквозь их ощутимый акцент нет-нет да и промелькнут наши с Таней интонации. А может быть, и мысли – мы многое с ними обсуждали.

Одной из первых наших учениц была, помнится, француженка Катрин. Мы читали с ней хрестоматию, включавшую хорошо написанные и легкие для понимания русские тексты. Одним из таких текстов был фрагмент «Аэлиты» Алексея Толстого, в котором желающие лететь на Марс приглашались к семи вечера на Ждановскую, 11. Я, не перечитывавший «Аэлиты» с дней ранней юности, не поверил своим ушам: красиво смягчая согласные, Катрин воспроизводила мой нынешний адрес.

Есть люди с обостренным вниманием к цифре. Таким, без сомнения, был один мой одноклассник, который после диктовки списка литературы на лето подошел после урока к учительнице за уточнением. Занося в тетрадь по внеклассному чтению повесть Вс. Иванова «Бронепоезд 14–69», он, оказывается, не успел записать номер бронепоезда. Он боялся прочесть о бронепоезде не с тем номером. Напомнив себе одноклассника, я переспросил у Катрин номер дома. Уже начиная понимать невероятность совпадения, девушка повторила адрес: Ждановская набережная, дом 11.

Прежний деревянный домик под этим номером (а если учитывать левую часть нынешнего строения, то два домика) был невзрачен. Но во дворе именно этого дома размещалась мастерская инженера Мстислава Сергеевича Лося, прототипом которого, как считается, был Юзеф Доминикович Лось, преподаватель Первой высшей школы авиационных техников им. Ворошилова, располагавшейся в соседнем здании. В отличие от Мстислава Сергеевича, Юзеф Доминикович в космосе не был. В 1937 году он попал в НКВД, вернуться откуда было, пожалуй, труднее, чем с Марса. Он и не вернулся.

Нужно сказать, что литература и жизнь на Ждановской набережной сталкивались не только в лице двух инженеров. Область реального была представлена прежде всего автором «Аэлиты», жившим по возвращении из эмиграции в доме номер три, комфортабельном по тем временам здании с видом на Тучков мост. В этом же доме находилась квартира Федора Сологуба и его жены Анастасии Чеботаревской, в чьей жизни Тучков мост сыграл роковую роль. В седьмом номере Ждановской набережной около года прожил Н.Г.Чернышевский, персонаж набоковского «Дара» и автор одного из самых странных текстов русской словесности. Наконец, компанию перечисленным лицам составлял – по созвучию с названием набережной – А.А.Жданов. Подобно Чернышевскому, Жданов художественных произведений не писал, но опубликованный им в 1946 году текст оказал на литературный процесс существенное влияние.

Возвращаясь к Ждановской, 11, замечу, что, помимо запуска космического корабля, там происходили события менее, возможно, масштабные, но совершенно реальные и достойные упоминания. Так, в девяностые годы прошлого уже века, время многочисленных взрывов, гремевших по самым разным причинам, я нашел в нашем парадном торт. Перевязанное кокетливой ленточкой изделие лежало на подоконнике и, несомненно, готово было взорваться. Собственно, если бы не эта ленточка, я прошел бы мимо и не обратил на торт внимания – мало ли что лежит в питерских парадных… Но ленточка на торте показалась мне штрихом избыточным, созданным как бы для контраста с грядущей катастрофой. Если угодно, кондитерским вариантом профессора Плейшнера, который с таким беззаботным видом понятно ведь, что попадет в западню.

Я приложил к коробке ухо: в ней не тикало. Подумав, позвонил в две квартиры на моей лестничной площадке и спросил, не забывали ли их обитатели на окне торт. Нет, не забывали. Особенно это касалось квартиры, населенной

алкоголиками (сам не знаю, зачем я к ним позвонил), которые в ответ только улыбнулись – стеснительно и беззубо. От того, чтобы выбросить всё это из головы и сесть за пишущую машинку, меня удерживало одно обстоятельство: в течение часа-двух домой должна была вернуться жена. Во времена пишущих машинок не было мобильных телефонов, и я не мог позвонить ей с предупреждением. Да и о чем, строго говоря, я мог бы ее предупредить? О коробке с тортом? Я мог бы только встретить ее внизу, провести мимо коробки и, если что, взорваться вместе с ней. Но для этого мне бы пришлось караулить ее внизу – неопределенное, повторяю, время.

Я выбрал путь, к которому призывали листки, приклеивавшиеся в те дни к парадным дверям и предлагавшие о подозрительных предметах сообщать в милицию. «Не знаю, – сказал я в трубку, – является ли торт сам по себе подозрительным предметом, но то, что он лежит в парадном, кажется очень…» Мне не дали закончить и велели не подходить к торту. Ровно через четыре минуты в описанный Алексеем Толстым двор влетела спецмашина. Из нее вышли люди в чем-то вроде скафандров, что опять-таки связывало происходящее с полетом на Марс. На вытянутых руках один из них внес в парадное штангу с прибором и медленно приблизил к торту. Подержав ее так некоторое время (напряженные лица стоящих), он сказал, что в коробке – кондитерское изделие. А еще поблагодарил за бдительность и спросил, могут ли они с товарищами это изделие съесть. Я отдал им его без колебаний. Весь двор следил за тем, как из нашего парадного космонавты выносили торт. Глядя на отъезжавшую машину, я не мог избавиться от чувства, что перевязанная ленточкой коробка все-таки взорвется. Что, погрузив зубы в первый же кусок… Нет, торт они съели без единого взрыва.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/ru/vodolazkin_evgeniy/idti-bestrepetno-mezhdu-literaturoy-i-zhizn-yu

Текст предоставлен ООО «ИТ»
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: Купить